

© 1993 г.

**Н.Н. КОЗЛОВА**

## «СЛАБОЕ МЕСТО» СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

---

*КОЗЛОВА Наталья Никитична — доктор философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН. Наш постоянный автор.*

---

В дискуссии по проблемам массового сознания, продолжающейся десятилетия, явно назрел и осуществился поворот, переместились акценты. В российском интеллигентском сознании понятие «массовое сознание» незримой нитью связано с мифологемой «народ». «Народ» выступал единственной подлинной реальностью, а вина перед народом была одним из главных интеллигентских комплексов. Ныне о вине перед народом забыто, а место его оказалось занятым «проклятым» люмпеном, маргиналом, биомассой и т.д. Складывается впечатление, что имела место лишь инверсия образа народа в сознании интеллигента, который с яростью Калибана, увидевшего себя в зеркале, разрушает прежние идолы. Радикальная смена знака волей-неволей заставляет сомневаться — а произошла ли демифологизация представлений о «народе» и о «массе». Как-то незаметно проблема массового сознания превратилась в проблему сознания тоталитарного. Тоталитарное сознание, «не знающее иронии» видится источником зла, создателем действительности, разделенной на непримиримые лагеря «наших» и «не наших». «Совок» — эвфемизм для российского тоталитария — занял место и народа, и «революционной народной массы», как было принято выражаться так недавно.

Известно, что сами понятия «масса», «массовое» зародились в рамках «религии Просвещения», где Просветитель — всегда верх, а «масса» — низ. Изменение отношения к «массовому» выражает кризис этой религии и культивируемого ею иерархического подхода к социальным, культурным, жизненным явлениям. Попытка сменить угол зрения сопряжена с отказом не только от принципов расовой исключительности или классового превосходства, но и от иерархизации системы культурных и духовных ценностей, вообще от принципа подчинения как источника явного и неявного насилия. Это — отказ делить людей на творцов и мещан: тупых, бесцветных, неспособных получить доступ к миру высших ценностей. Тенденция эта проявляется и в искусстве, и в науке. Многими этот сдвиг ощущается как признак смерти коллективных идентичностей. Так, постмодернистское искусство, представленное у нас «другой» прозой и поэзией, часто строится на деконструкции и деструктуризации старых социальных кодов, воплощенных в текстах массового сознания. Прежние мифологии разрушаются, а сами социальные коды становятся предметом языковой игры. Смена масок — травестирование — становится излюбленным приемом. Впрочем, так было и в 20-е годы — в эпоху столь же радикальных социальных перемен. В результате тексты массового сознания обретают ауру, ранее считавшуюся принадлежностью лишь «высокого искусства».

Аналогичные процессы разворачиваются и в социальных науках, где рушатся универсальные объяснительные схемы прошлого. Социология и социальная философия

перестают проверять на истинность исследуемые формы жизни. Социолог становится не более, чем участником общественной жизни наряду с другими. Если исходить из факта плюральности жизненных опытов, речевых практик, идеологий, психологии, сознаний, ментальностей, то становится трудно говорить, например, об «отклоняющемся» поведении. Переосмысливаются и размываются представления о норме. А кто такие маргиналы? Быть может, это — интеллектуалы? Ведь они — лишь гребешки волн океана, а океан — это «масса». Со страниц социологических трудов смотрит на нас человек-масса, не «хозяин», не «агент собственной истории». Социальный теоретик уже не может действовать так, как будто история «на его стороне». А жизненные формы уже не так просто квалифицировать как истинные или неистинные. Альтернативные модели социальной теории (представленной, допустим, различными течениями социологии повседневности) строятся как наука тех, у кого нет власти. Знание о социальных формах невозможно, оказывается, получить вне контекста культуры, традиции, языка. Сама же проблема социального познания состоит уже не в том, чтобы распространять единственно верное значение или высшие ценности, но в том, чтобы сохранить коммуникацию культур и людей, выработать новые способы считывания мира.

Новый угол зрения открывает новые исследовательские, культуротворческие возможности. Осознание условности ценностных иерархий открывает отчасти возможность возвращения человека к самому себе на суверенную территорию собственной индивидуальности. Но этот же поворот может ввергнуть в соблазн релятивизма: велико искушение не выходить за пределы собственного дискурса, в котором так уютно себя чувствуешь. Отсутствие критерия подталкивает к тому, чтобы слить воедино порчу и святость, нищее незнание и развращенное всезнайство. Признание тщетности универсальных стандартов легко провести так, что за ненадобностью отбрасываются даже критерии моральные. И нет тогда границ между интеллектуальным хамством, и спесью, и просвещенческим энтузиазмом. И тогда можно ко всему относиться легко, и нет никаких препятствий для того, чтобы заниматься искусством для искусства, а если говорить всерьез — чтобы потихоньку создавать новый гулаг. Возникает ситуация, когда «Бога нет, и все дозволено», а человеческие драмы превращаются в игры марионеток культуры. И тогда позиция интеллектуала по отношению к «массовому» не так уже далека от его демонизации, о которой говорилось в самом начале.

Вопросы эти могут кому-то показаться схоластическими: уж сколько их было — дискуссий о массовом обществе, о массовом сознании. Однако обращение к самим текстам массового сознания позволяет понять эти вопросы как драматические, даже трагические, а главное — очень и очень непростые. Попробуем поразмыслить над ними, погружившись в конкретный материал, выйдя в те пространства, где кончаются и наука, и искусство. «Человеческие документы» порождают потребность оценки, но оценивать оказывается, трудно, если отказываешься от «просветительских инстинктов».

Распространение печати и грамотности создало счастливую возможность прямо, а не опосредованно погрузиться в «темную ясность» текстов массового сознания. Письма в прессу — разновидность таких текстов. Мне пришлось прочитать около 500 таких писем<sup>1</sup> в газеты и журналы, датированных перестроечными и постперестроечными годами. Исследование симптоматики жизненной реальности по этим текстам составляет особую задачу. Какая именно реальность отражается в этом зеркале «на большой дороге» — разговор особый. Меня интересовало не то, что отражает зеркало, а то, как оно это делает. Ответы на вопросы, поставленные в начале, предполагали обращение к самоочевидностям сознания корреспондентов, к его общественной форме. Именно это позволяет каким-то образом реконструировать культурно-антропологические особенности «человека массы» как социального типа.

---

<sup>1</sup> Письма хранятся в Центре документации «Народный архив».

Погружение в материал такого рода — переход в мир иной, не похожий на мир правильного рационального мышления, в котором привыкли жить интеллектуалы. Читая письма, попадаешь в область полусказочного нарратива повседневных речевых практик. Здесь не соблюдаются правила нормативной лексики. Слова употребляются не к месту, авторы часто пишут, как говорят. То и дело сталкиваешься с лексическим сумбуром и стилистической какофонией. На узком пространстве текстов писем встречаются настоящая трагедия, незаурядный ум, наивное добродушие, жалкий лепет, простодушие, энтузиазм, жульничество и, конечно же, ужасающая безграмотность. Порою кажется, что «сквозь текст» проглядывает А. Платонов: «Она всегда была с ним. Он ей рассказывал свой пройденный этап. Она мирно его слушала и делала планы на будущее». Или М. Зощенко нам улыбается: «Я имею определенную цель найти ее и завязать с ней переписку, которая стала бы перевоспитанием ее души. Я хочу рано или поздно соединить с ней сердца, простить ее грехи. И пусть знает, что есть еще пацан, который "живет ею" и который сделает для ее счастья все что угодно, лишь бы она не была опустошенной». Любые темы культуры переводятся на «язык масс». Вот например, «ахматовская тема», как она раскрывается «советским заключенным»:

«Слов этих сила огневая  
Крылатых душ и чувств полет  
Бессмертье жизни утверждая  
Расплату изменникам несет»

Вообще среди корреспондентов много стихотворцев. Впечатление, что все, кажущееся важным, все волнующее перелagается в стихи:

«Море тоски и страданья  
Вновь разлилось предо мной  
Сколько ж еще наказанья  
Сносить мне в тюрьме роковой

\* \* \*

Коварных, жестоких и лживых  
Начальников друженский рой  
Что ради презренной наживы  
Прогрызли хребет уже мой»

«Социально-политические» письма написаны коньковско-горбунковским раешником:

«Депутаты как собаки  
Позатеяли лишь драки  
Гнать к чертям всю эту власть  
Эх пожрать сейчас бы власть»

Нет ни мяса колбасы  
Семь рублей одни тусы  
Соль ушла вся за границу  
Хрен найдешь себе ты ситцу

Тут уж бабы завизжали  
Что рожать на все мы клали  
На зарплату мужика  
Хрен ты купишь что пока

Им плевать на ту зарницу  
Что пришла сейчас в столицу  
Им подай по магазину  
Да по розненным витринам» и т.д.

Многие жаждут напечататься. И действительно, намного ли хуже их произведения, чем то, что Дм. Галковский числит по ведомству советской поэзии?

Девушки — поклонницы В. Цоя — высказываются галантерейным языком последней формации: «За свои семнадцать лет я видела не один большой закат». А периферия грозит центру: «Мы еще покажем московской элите и функционерам издательского дела, что такое сибирская закуска и выдающийся поэтический талант». А на чем пишут и чем...

Тетрадные листы, обрывки из амбарной книги, листы спичечных этикеток. «Безграмотные» письма, а тем более стихотворные произведения, подобные приведенным выше, проходят по разделу «графомания» и застревают в архивных папках. В печать, как правило, попадают письма, представляющиеся редакторам интересными — факты, социальнозначимые или сенсационные, самые громкие «крики души». При публикации их правят, редактируют, расставляют запятыя. В результате они утрачивают качества подлинности, а значит, и значительную долю интереса для исследователя. Ведь именно стилистика писем представляет значимую симптоматику господствующего типа сознания и ментальности корреспондентов.

Обращаясь к письмам перестроечного этапа, попадаешь в мир «совка», образ которого соответствует тому, что пишет о «совке» А. Генис: «бешеная жажда равенства, глухая ненависть к чужому успеху и пышущая энергией лень» [2]. Так, если судить по письмам, вера в то, что общество нуждается не в коренной перестройке, а лишь в некоторой переделке, явно была иллюзией не одного лишь М. Горбачева, как сейчас многие полагают. «Казалось бы яснее ясного: мы должны идти по пути, указанному Лениным. Вопрос, как Сталин мог пробраться и занять место такого гения как Ленин», — пишет один из корреспондентов. Письма периода перестройки — мир знакомой оптимистической советской шизофрении:

«Перестройка, перестройка!  
По земле родной идет,  
Перестройку класс рабочий  
Никогда не подведет».

Игра ведется все по тем же старым правилам. Любая личная проблема представляется как государственная, а себя человек любит значительно меньше, чем родное советское государство и партию. Любой межличностный конфликт переводится на язык борьбы за интересы государства и всеобщую социальную справедливость. Бытовой вопрос вызывает поток писем в ЦК, КПК, «на съезд». Сама возможность обращения в «инстанции» создает своего рода душевный комфорт. Когда эта возможность иссякает, это выбивает из колеи: «муж больной, нервничает, дите рядом под рукой ... И никто ничего не обещает».

Чтение писем свидетельствует, что для многих, слишком многих перестройка была лишь открывшейся возможностью разобраться, «кто на самом деле враг народа», «назвать взяточников и врагов по имени» — просто «аппаратчиков» и «партийных аппаратчиков», «мафию», которая и в милиции, и в райкоме, и, конечно же, в КГБ. Любимое государство тоже достаточно быстро превратилось в «нарыв на теле», причем «главного спекулянта». Что делать с «врагами»? Сменить, перезахоронить, ликвидировать...

В письмах перестроечного периода рефреном звучало: перестройка не для элиты, а для «простых людей», для «строителей социализма». Чтение писем убедительно подтверждает «гипотезу» относительно роли мифологемы равенства в массовом сознании. Критикуя настоящее, мечтая о будущем, рассуждая о справедливости и несправедливости, корреспонденты проговаривают «последнюю правду» о самих себе. Справедливость — это все то же, столь хорошо исторически знакомое «поравнять». «Почему идет разделение по-разному водочных изделий между городом и деревней? Куда девается наша доля водочных изделий, кто ею пользуется?» «Давайте исследуем, как говорил Сократ, нравственна ли всегда и везде повешенная табличка "Инвалиды и ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди"» «Почему наше уважаемое правительство должно питаться тем, что мы никогда в глаза не видели? Пора кончать с этим безобразием» «Кто желает слишком выделиться, тот желает отделиться» «Что получается ... инволит 2 группы пришел в белой рубашке при галстук в полботинках. А инволит войны 3 группы в куфайки и кирзовых сапогах».

Противоречие между мечтой о полном равенстве и невозможностью полной его реализации разрешается паллиативно, путем признания почти что природной иерархии, где каждый ранг отмечен соответствующими привилегиями. Потребление «по чину» в общем-то не смущает. Чаяния равенства и жажда «правильной» иерархизации в этом полусредневековом сознании стоят рядом. Восстановление справедливости видится как «правильное» распределение людей по категориям.

Палитра этого сознания, производящего и воспроизводящего манихейскую картину мира, предельно проста: «черное — белое», «мы — они», «человек — зверь», «Огонек» — «Молодая гвардия» и т.д. Члены оппозиции могут варьироваться, но она сама неизменно сохраняется. Прошло несколько лет перестройки, мир, казалось бы, обвалью изменился. Эпитет «советский» просто прилагается теперь ко всему существительному, подвергающемуся отрицательной оценке. Изменивший муж или возлюбленный теперь не более и не менее, чем продукт советской системы, или проще — «советский козел». Запад из мира зла превратился в пространство, где могут исполниться самые фантастические желания российского человека. Результат переоценки ценностей свидетельствует, что имеет место не развитие, но инверсия — «ритуальное переворачивание» ради сохранения прежней целостности, непротиворечивости, простоты мира.

Для этих людей история, с одной стороны, творится по воле начальства, а с другой — элита любого рода в числе врагов первого ряда. Сознание как бы стремится к реализации простой системы социального взаимодействия вождя и массы без всяких посредствующих структур. Хорошее общество — «простое», одноклеточное статичное общество равенства, где прекращены «скачки в ценах», где «у тружеников твердая зарплата», где достигнуто «время распределения по потребностям бесплатно». И характерен расчет на эффект простых действий, и крепка вера в «главное звено», ухватившись за которое «мы резко двинем дело вперед». В качестве такого «главного звена» нередко выступает производство водки: уменьшишь производство — будет порядок и здоровое общество. Напрямую связывается способ избрания президента и появление большого количества еды: «Президента нужно избирать всем народам, а не назначать, как это делается, во всем мире, за то везде и продуктов изобилие».

Авторы писем, как правило, гиперморалисты, но встречаются среди них и люди, не подозревающие о существовании не то, чтобы культуры, самоценности и индивидуальности «другого», но даже элементарной морали и чувства собственного достоинства. «Ты пишешь, что твое человеческое достоинство унижают, но как? Я понимаю, унижение физически, изнасиловали, избили, ну как еще можно унижить человека?» Или вот — письма из «зоны»: «А попал я сюда из-за своей девушки, знаешь я не кому не позволял говорить при ней плохие слова и тем более прикасаться к ней и вот итог я здесь». Словом, наивность Каина до убийства Авеля...

По письмам видно, что перестройка породила революцию надежд во многом потому, что в результате перемен должна реализоваться заветная мечта о простоте, цельности и равенстве. И действительно, мир перевернулся, сменились имена и названия, а Царство Божие на земле не наступило. Более того, жизнь предлагает новый принцип, новые правила игры. Равенство уже не является элементом новой идеологии, как это было в случае идеологии социалистической. И тогда процесс реформ стал ощущаться как то, что в очередной раз разрушает порядок мира. Крушение привычных ценностей порождает чувство оставленности, заброшенности, хаоса. Возрождаются эсхатологические ожидания, этот излюбленный российский жанр. «Нет ничего и, наверное, никогда не будет» — такова тональность многих постперестроечных писем. «Нет ничего» — свидетельство распада ценностей, черной дыры, вакуума, катастрофы. «За 5,5 лет погибли в катастрофах тысячи людей, уехало тысячи, умерло сверх норматива по вине дикой перестройки.» Только ли с падением уровня жизни связан перелом настроения? Достаточно ли этого, чтобы начать ждать конца света? Понятно, что те, кто деятелен и удачлив или хотя бы только деятелен, писем в газеты и журналы не пишут. Но ведь и «вкальвание за гроши и стояние в очереди» не должны бы так уж удивлять бывшего советского человека. В 20-е годы российская жизнь была крайне тяжела, но находились люди, которые испытывали оптимизм и полноту жизни, которые верили: «минует это нечто гробовое, мы будем есть пирожного куски» (А. Платонов). Бодрая молодежь становилась социальной базой сталинских модернизирующих реформ, открывавших путь социальной мобильности. Так что роль крушения ценностей как социокультурного фактора реформ, способного определить и их результаты, вряд ли следует преуменьшать.

Встает однако вопрос, а способно ли сознание с «простым устройством» найти выход из кризиса хотя бы путем перебора возможных вариантов и выбора лучшего из них, т.е.

целерационального выбора? Думаю, что нет. Сознание это натывается на стену, ушибается, отходит и начинает снова — все с той же универсальной архетипической схемой. Неспособность к «прогрессивной» мутации, отсутствие не то, чтобы исторической памяти, но памяти о чем бы то ни было — вот черты, характеризующие этих людей.

Разочаровавшись в «этом» мире, корреспонденты с течением времени все больше уходят в мир грез и ожидания чуда. Если попытаться в нескольких словах описать происшедшее, то можно, вероятно, сказать, что массовое сознание перешло от социально-окрашенной грезы — чем иным были «перестроечные мечтания»? — к грезе «нецензурированной». Произошел скачок в мир живого мифа, сказки, мистики. Одни ищут путь «к биологическому бессмертию». Другие уходят в мир книжных героев, дабы скрасить «мрачную картину бытия». Впечатление, что окружающие кажутся авторам писем непригодными для общения, и они рады пообщаться с дальним. А может быть, никакое общение им и не нужно: они одновременно боятся одиночества, жаждут взаимопонимания и грезят в пустоту. В письмах «о жизни, о любви» сплошной нарциссический монолог. Гипотеза эта подтверждается феноменальной неразборчивостью почерков — хотят ли они вступить в коммуникацию? Девушки желают выйти замуж и одолевают редакции просьбами помочь «найти мужчину» — «доброе, одинокое, обеспеченное», причем «возраст значения не имеет». А мужчины? «Я физически здоров, но морально чувствую себя инвалидом... И найдется ли такая женщина, которая может исцелить душу?»

«Как мне сейчас не хватает  
Милых глаз твоих, сладких губ  
Образ твой передо мною витает  
Как весною сиреневый куст  
Приходи! Нету сил больше ждать  
Приходи! Я устал месяца провожать»

Людям хочется «больше мистики и зрелищ», сенсационных материалов в каждом номере. Они хотят смеяться, и ужасаться: «и не надо бояться рассказывать о фильмах ужасов...» «Больше любви и эротики!» В. Цой, колдуны, экстрасенсы, призраки, провидцы, нечистая сила. «Говорили и писали, что к концу света все — сказки, мистика станет явью. Скоро 2000 год. Увидим!» Попутно корреспонденты объясняют, почему Кашпировский устраивает их больше, чем православный священник: «У меня есть записи с телевизора Кашпировского... Я их сличил с проповедью церковнослужителей. Чем эти передачи разнятся? У Кашпировского легкая успокаивающая музыка и беседа, каких миллионы других у каждого ежедневно с такими же смертными. У церковнослужителей что-то напоминающее за упокой, мольба "спаси", конец приходит всему. Так что же вреда больше приносит человеку?». Получается, что требования мировой религии им не под силу. Да и разум — «жестокый разум» — здесь тоже не в чести.

Нельзя не обратить внимания еще на одну особенность этого пласта писем. Тексты о «любви, о жизни, о человеческих отношениях» производят впечатление массовокультурного текста. Журнал «Смена» регулярно печатает «крики души», на которые активно реагируют читатели. Эти реакции интересны тем, что в них как бы сталкиваются жизненные реалии и авторский нарратив. Складывается впечатление, что корреспонденты на жизненные вызовы реагируют, исходя не столько из реальных обстоятельств, сколько в соответствии с канонами мелодрамы, телесериала, романа с продолжением. Утилитарные представления как бы начисто отсутствуют. Хотя бы один пример. Молодая женщина через журнал «Смена» поведала миру о том, что она ненавидит своего ребенка, так как отец этого ребенка ее оставил. Читатели очень хотят ей помочь. Молодая женщина из российской глубинки, которая живет в однокомнатной квартире с маленькой дочерью и мужем-пьяницей, приглашает к себе жить пострадавшую, сообщая подробный адрес. А 19-летняя жительница рабочего общежития предлагает тут же усыновить этого ребенка.

Письма о любви (они же часто письма в «зону» и из «зоны») являют собой наглядную обобщенность мифа, сказочную историю — о любви, случайности судьбы, испытании (тюрьме), спасении любовью, — которая непременно должна увенчаться счастливым концом: «Мне плохо было одной и трудно... Мое терпение и успокоение было вознаграждено счастливым концом». Сочетание жизненной правды и безвкусицы, ходульности

поражают. Жизненные впечатления перерабатываются на мельнице фольклора индустриальной эпохи. Нарративы мелодрамы, детектива совпадают с господствующей ментальностью. Обращаясь к этому пласту писем, мы переносимся в тот слой архетипических мифологем, которые присутствуют в любом сознании, но здесь он явно господствует. Тексты дают возможность вживе наблюдать мифологемы любви и надежды, золушки, судьбы (подарка судьбы), жертвы, испытания и искупления. «Счастье», «ошибка жизни», «сходство», «будущее», «тайна», «зло в мире», «рок», «женщина», «спасение любовью» — ключевые слова. «Роковой случай», «чистая душа», «милиция» и «старушка-мать» стоят рядом. Здесь нет осознания культурных различий, различий в воспитании, столь значимых в жизни. Это сознание всегда делает акцент на случайностях судьбы. Недаром столь серьезно отношение к астрологии. «Астрологическая картина мира» диктует человеку не столько свободное действие, сколько выбор нужного момента для действия, равным образом как способ поведения. «Если ты по гороскопу Овен, тогда вообще стыдно руки опускать.» Складывается впечатление ирреальности как сознания, так и жизненного пространства, в котором оно живет. Естественная установка распространяется на оба плана: жизненный и символический слой равно реальны и взаимозаменяемы. Именно поэтому так легко происходит идентификация с героями мелодрам.

Вышесказанное опять-таки являет собою аргумент в пользу того, что носители этого сознания — не только «совки», но и «марионетки культуры». Тексты писем отличают кифантилизм и свежесть и одновременно подлинность жизненности, которая усиливается протодушно-серьезным, без иронии тоном. Авторам можно предъявить множество претензий, если полагать, конечно, что имеешь право их предъявлять. Любая тема, любой предмет кажутся скомпрометированными словами — то грубыми, то галантерейными. Носителю этого языка невдомек, что порождение ценностей может потребовать и усилий, и труда и самоограничения, и страдания, и жертвы. Этим языком ценности лишь разрушаются.

Явное присутствие в сознании «совка» универсального слоя заставляет задаться вопросом, так ли уж исторически уникален этот культурно-антропологический тип. О ком пишет Х. Ортега-и-Гассет — о «совке»? Да нет, о европейской массе, которая «производит на нас впечатление первобытного человека, неожиданно возникшего не где-нибудь, а в лоне одной из самых древних цивилизаций» [3]. Эти избалованные дети «готовы взять на себя управление миром так, как если бы он был девственным эдемским садом, в который еще не ступала нога человека, а не скопищем давно назревших трудноразрешимых проблем» [Там же]. Они не подозревают, что блага цивилизации — плод долгого строительства, не подозревают, что здание цивилизации держится за счет невероятных усилий и общего старания. Ортега-и-Гассет предъявляет этим «детям» сильные модернистские требования ответственности, уважения к авторитету и высшим ценностям европейской цивилизации и культуры.

Но дает ли основание «совковость» и «марионеточность» этих людей относиться к ним как низшей расе, считать авторов писем не вполне людьми? Проблема не так проста. В свое время она рефлексировалась обэриутами, М. Зощенко и др., т.е. теми, чьи тексты строились на воспроизводстве текстов массового сознания, на травестировании как смене языковых масок. Ходульность поведения девушки давала основание герою романа К. Вагинова «Бамбочада» Евгению Фёлинфлеину поступать с нею «нехорошо». Стилистика поведения этой девушки по имени Нинон была гротескной, а значит, принадлежала комическому жанру. Кукольная комедия — жанр низкий. «Нинон... казалась ему настолько кукольной, что он себя почувствовал совершенно безответственным» [4]. Трагедия легко превращается в козлиную песнь, а жизнь кажется только театром. Да вот девушка — тоже человек.

«Я тоже человек» — вопиет со страниц почти каждого письма. «Мои стихи безфамотны, но в них истина человека из-за колючей проволоки... Я тоже мечтаю о чистой любви, о ребенке, и я прошу верить, что здесь сидят люди, а не звери.» Авторы писем — «другие люди», не похожие на тех, кто прошел школу рационального мышления, кто действует целерационально кто обладает сложными представлениями о мире. Безвкусица масс и вкус интеллектуалов — разные миры. Но можем ли мы судить, чья трагедия трагичнее —

пастернаковского доктора Живаго или зощенковского «смешного» Мишеля Синягина? Ахматовой или героини повести Л. Петрушевской «Время ночь», тоже поэтессы по имени Анна? Во всяком случае боль-то все ощущают одинаково. «Марионетка культуры» смотрит человеком, а идеологема «тоталитария» не столько проясняет, сколько затемняет и затуманивает и без того не вполне ясное. Думаю, что культурно-антропологический тип, о котором идет здесь речь, существует в любом, самом демократическом обществе. Эти люди — слабое место реальности, и не стоит питать по отношению к ним иллюзий, которые принято называть просветительскими, иллюзий, что сознание их можно отредактировать так же, как в редакциях редактируют их тексты. (Впрочем, так поступают не везде. Растет понимание того, что тексты массового сознания следует печатать «в натуральном виде».) Иллюзии исправления сознания через индоктринацию путем массового приобщения к письму и печати с целью воспитать «правильный взгляд на мир» дорого обошлись нашему обществу. Но и постмодернистская игра с текстами массового сознания ради реконструкции и художественного продуцирования сознания, стоящего за коллективно-безличными текстами, порождает соблазн не увидеть за текстами людей. За казалось бы безоценочным отношением стоит оценка, воспроизводится, казалось бы, изжитый иерархический подход к массе. Марионетка культуры или проклятый люмпен — не все ли равно? На это хочется среагировать словами А. Платонова: «А ведь это сверху кажется — внизу масса, а тут — отдельные люди живут» [5]. Чтение человеческих документов помогает острее ощутить саму проблему, почувствовать всю меру фальши, которая ощущается в современных дискуссиях о «совке».

Действительно, эти люди — слабое место социальной реальности... Они то колеблются с линией партии, то бездумно грезят. Они находятся ниже уровня рынка. Мир пишущих письма в газеты и журналы — мир первичных потребностей. Это люди, для которых рай — это место где много едят. Для них ли стратегия рыночного соблазна? Ведь она требует иного уровня притязаний. По отношению к этим людям мир знал только одну стратегию — старую как мир репрессию, т.е., в предельном варианте, ГУЛАГ. Ведь если счесть этот культурно-антропологический тип лишь генетически неполноценной категорией, заслуживающей своей горькой участи, то так им и надо. Вероятно, так называемые «защитники прошлого», бесьма которых довольно часто попадают в почте средств массовой коммуникации, бессознательно протестуют против того, чтобы история, т.е. их собственная жизнь, сводилась к прочерку, провалу. Не считая этих людей за людей, мы зачеркиваем историю, которая представлена и «совками». И надо ли еще раз повторять этот опыт? «Совки» же платят лютой ненавистью тем, кто их презирает, изливая свою ненависть в письмах: «Сейчас много попрошаек от культуры, везде и вся кричат и просят денег, пугая народ тем, что если не дадите денег, то не будем окультуривать народ... Народ мол, ничего, не понимает, это, мол, серая мрачная масса, дикари... Посмотрите, кто вы сами такие? Посмотрите в историю, когда начинаются все эти театры? Когда человек начинает жить сытно! Вот сытые князья и стали со своего стола прикармливать обьедками всяких ряженных, скоморохов, гудочников, гусяров, циркачей и т.д. лодырей и туенядцев, не желающих пахать и сеять и быть человеком, а занявшихся бродяжничеством...». Общество российское пережило уже не один культурный провал. И надо ли еще раз повторять этот опыт?

Ценностный мир корреспондентов не совпадает с либеральными ценностями. Более того, часто эти люди с разрушенными ценностями. Ответ на извечный вопрос «что делать?» выходит за пределы данных размышлений. Можно лишь сказать, что для тех, кто разделяет либеральные позиции, жизнь и права индивида всегда являются ценностью, каким бы этот индивид ни был. Силовое давление по отношению к этим людям — путь известный, проверенный, соблазнительный. Проблема отношения к ним — это проблема средств той же реформаторской деятельности, т.е. проблема обоюдоострая. Как бы мы ни отказывались от ценностных иерархий, они часто выстраиваются сами собой. И принять, вероятно, можно лишь ту иерархию, на вершине которой стоит жизнь живущих ныне людей, которая выше ценностей будущего общества. Только на этой основе можно продвигаться в решении проблемы отношения людей разного склада между собой.

Герой романа Дж. Фаулза «Коллекционер» напоминает юношу, который попал в тюрьму



из-за того, что никому не позволял дотрагиваться до любимой девушки. Правда, он живет в Англии, на родине европейской демократии. Но влюбляется в девушку — тип одухотворенной красоты. Для того, чтобы с ней не расставаться, он оглушает девушку хлороформом и заключает ее в подвал, залюбив ее там до смерти. Понятно, что далеко не все умыкают любимых девушек и подвергают их насилию. Но взгляд молодого человека на мир — норма для многих людей. Отношения «коллекционера» и девушки-бабочки — модель отношений людей из разных культурных галактик. Сам Фаулз, комментируя свой роман, писал, что общество слишком долго воспринимало жизнь в терминах борьбы меньшинства и большинства, между «нами» и «ними». Притча, предложенная им для размышлений — анализ плодов этой конфронтации. Вопрос о вине и невиновности большинства — один из самых сложных. Будет ли он разрешен в XX веке? Конфликт разнородностей человечества жесток. Да, одна сторона обуреваема завистью и жаждой равенства. Но и другая разьедаема презрением. Люди не рождаются равными и не будут равными никогда. Но мир не улучшится, пока большинство не избавится от самоедских представлений о низком своем положении, а меньшинство — от ложного представления, согласно которому превосходство — форма бытия, а не форма ответственности.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Галковский Дм.* Поэзия советская. Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого» //Новый мир. 1992. № 5. С 204—225.
2. *Генис А.* Совок //Независимая газ. 1992. 15 сент.
3. *Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства и другие работы. М.: Радуга, 1991. С. 78.
4. *Вагинов К.* Козлиная песнь; Труды и дни Свистонова; Бамбочада; Гарпагопиана. М.: Худож. лит., 1991. С. 334.
5. *Платонов А.* Возвращение. М.: Мол. гвардия, 1989. С. 91.